Влияние культурного контекста на развитие науки в России: социально-психологический взгляд

В.И. Коннов

В статье предлагается взгляд на формирование национальной научной культуры, предопределяющей особенности развития научных исследований в различных странах, с позиций социальной психологии. Данный подход позволяет выявить причины возникновения особых научных культур и предлагает инструментарий, делающий возможным их описание. Автор использует трехуровневую схему характеристики культур, предложенную Д. Ойзерман и соавторами, и предпринимает попытку анализа «удаленного» (в терминологии Ойзерман – дистального) уровня российской научной культуры, представляющего влияние национальной культурной традиции в широком смысле, которое формирует контекст деятельности российских ученых.

В настоящее время одним из самых активно развивающихся направлений социальной психологии являются исследования культуры, выведенные на первый план «культурным поворотом», в ходе которого произошло смещение дисциплины от поиска универсальных закономерностей общественного поведения человека к изучению его особенностей в различных национальных, организационных и иных контекстах. Характерным для культурного направления является вовлечение в сферу исследования окружения человека и его влияния на индивидуальное поведение и психические процессы, что означает значительное расширение традиционного предмета социальной психологии, долгое время концентрировавшейся на изучении ситуаций, максимально очищенных от контекстуального влияния.

Психологические исследования культуры осуществляются преимущественно на двух уровнях – национальном и организационном: в первом случае речь идет о культурах целых народов, во втором – о культурных ситуациях, которые создаются в рамках определенных формальных объединений, обладающих определенной идентичностью и передающих ее, целенаправленно или непреднамеренно, своим участникам. Несколько реже встречаются работы, посвященные профессиональным культурам, которые распространяют свое влияние на представителей какой-либо специальности. Исследования психологических особенностей ученых стоят наиболее близко именно к этой группе, однако если говорить о культуре научного сообщества, то в этом случае круг ключевых проблем оказывается отличным от того, который возникает в психологии профессий.

Прежде всего, научно-исследовательская работа, даже в том случае, когда мы говорим исключительно о фундаментальной науке, исключая из внимания прикладные исследования, объединяет две заметно различающиеся между собой

Коннов Владимир Иванович – к.социол.н., доцент кафедры философии МГИМО(У) МИД России.
E-mail: v.konnov@inno.mgimo.ru
Статья подготовлена в рамках проекта «Социокультурные особенности научно-исследовательской деятельности в России», выполняемого по гранту Президента Российской Федерации для поддержки молодых ученых.

профессии – преподавателей высшей школы и сотрудников научно-исследовательских организаций. Более того, одновременно с этим научное сообщество включает две сильно разнящиеся между собой группы – гуманитариев и естественников, отношения между которыми далеки от полного взаимопонимания и время от времени переходят в открытые конфликты (к примеру, споры между «физиками» и «лириками» в СССР в 1960–1970-х гг. или «научные войны» в США в 1990–2000-х гг.), не говоря уже о том, что под понятие «научные исследования» подпадают все самые разнообразные научные специальности, счет которых идет на тысячи и которые, в принципе, так же могут рассматриваться в качестве обособленных, в терминологии социолога К. Кнорр-Сетины, «эпистичемеских культур»[1].

Основанием для объединения всего этого многообразия в одну рассматриваемую группу является самоидентификация ее участников: несмотря на существование внутренних противоречий, все они считают себя именно учеными, что подразумевает признание особого набора ценностей и принятие обладающей специфическими чертами традиции. В наиболее сжатом виде основы этой традиции были сформулированы Р. Мертоном как четыре императива «научного этоса»: универсализм, коллективизм, бескорыстность и организованный скептицизм. Первый, главный и практически безоговорочно признаваемый учеными императив универсализма[2] утверждает, что «претензии на истину, каким бы ни был их источник, должны быть подчинены заранее установленным безличным критериям» и «не должны зависеть от личностных или социальных атрибутов их защитника»[3]. Этот императив сразу же выводит научную традицию на наднациональный уровень, так как приоритетное значение интересов сограждан и нации в целом, которое прямо устанавливается или подразумевается любой национальной идеологией, оказывается в противоречии с научным этосом.

При этом общим местом стало утверждение о существовании национальной науки – немецкой, французской, российской и т.д., – несмотря на то, что такая постановка вопроса прямо противоречит идеальным представлениям о науке, которые подразумевают игнорирование национальности при оценке вклада ученого и принятие решений, исходя исключительно по объективным критериям. Более того, подобные утверждения идут дальше простой констатации очевидных вещей – ясно, что, к примеру, российская наука особенна уже тем, что она осуществляется на русском языке и ее представляют российские ученые со всеми их социальными и психологическими особенностями, но, помимо этого, в них содержится указание на существование национальных черт самой научно-исследовательской деятельности, т.е., по сути, особенностей метода научного исследования.

Основания для подобной точки зрения дает психология науки. Ключевой здесь является концепция М.Г. Ярошевского, специально рассматривавшего проблему соотношения национального и интернационального влияния в науке. С его точки зрения, индивидуальный ученый, будучи вовлеченным в научно-исследовательскую деятельность, которой присущ высокий уровень интернационализации, неизбежно оказывается подвержен влиянию мировой научной культуры, которое иногда даже отодвигает на второй план его национальную идентичность. Однако значение национальной культуры возрастает в рамках научных школ, для возникновения которых необходима более прочная основа, чем просто общие исследовательские интересы участников. «В действительности эту систему создают люди, взращенные на почве определенной национальной культуры. Они впитывают богатства этой исторически сложившейся культуры, ее самобытные социально детерминированные традиции. И это вовсе не безразлично для направленности и стиля их мышления при открытии, выборе и решении строго научных проблем. За каждым выбором и решением стоит не абстрактный индивид с его общим для всех аппаратом переработки информации, а личность, в творчестве которой с различной степенью остроты сконцентрированы нужды и боли своего народа»[4].

В свою очередь, на базе научных школ и за счет привлеченных ими ресурсов возникают международные невидимые колледжи, которые формируются вокруг когнитивных элементов, общих для представителей разных национальностей. В то же время культурно-специфические элементы из их оборота вытесняются. И именно в рамках таких колледжей складываются парадигмы – особые взгляды на действительность, которые предопределяют наборы исследуемых проблем и методы их исследования, характерные для различных дисциплин. Будучи сформированными, парадигмы становятся ключевым элементом профессиональной подготовки ученого и в результате – частью его внутреннего мира.

Таким образом, культура научного сообщества представляет собой сплав наднациональных и национальных элементов. Составить ее социально-психологическую характеристику позволяет подход, предложенный психологией культуры, который предполагает вовлечение в анализ поведения и психических процессов, и внешнего материального и смыслового контекста. Американские психологи Д. Ойзерман, М. Кеммелмейер и Х. Кун предлагают модель культурного влияния, которая предусматривает три основные группы факторов: 1) действующие на индивидуальном уровне, т.е. интернализованные культурные нормы; 2) действующие на уровне социальных институтов, к которым относятся все структуры, образующие родительскую опеку, воспитание, образование, а также правовую и экономическую системы общества; 3) действующие на удаленном (дистальном) социальном уровне – сюда относится язык, в том смысле, что он задает определенные рамки, в которых формируется мировоззрение, религиозная и примыкающая к ней философская традиция, а также история как набор событий, предопределивших определенное направление формирования

культуры, - важно отметить, что данные факторы способны оказывать влияние на индивида только через структуры, относящиеся к уровню социальных институтов[5]. Очевидным образом влияние культуры оказывается тем сильнее, чем более полно согласованы между собой три уровня.

Данная схема вполне может быть использована для описания культуры российского научного сообщества. В настоящей статье планируется дать общую характеристику факторам третьей, «дистальной» группе.

Вопреки марксистской философской школе, традиционно изображающей науку и религию в качестве прямых антагонистов[6], социологическая традиция, идущая от М. Вебера, находит истоки европейской науки в христианстве, а именно – в его протестантской ветви. Эту линию продолжил Р. Мертон, продемонстрировавший прямую связь научного этоса с протестантской этикой и общие социальные предпосылки формирования как протестантизма, так и науки Нового времени[7]. В России, которую протестантское течение практически не затронуло и которая сохраняла православие в качестве официальной господствующей религии вплоть до XX в., но при этом сумела в полной мере воспринять европейскую науку, религия должна была играть особенную роль. Как отмечают А.В. Юревич и И.П. Цапенко: «… Здесь заключено очевидное противоречие: если западная наука является выражением протестантской этики, то российская православная культура должна была породить какую-то другую науку»[8]. При этом, подчеркивают авторы, речь идет не столько о восприятии наукой религиозных норм, сколько об их общих корнях: «Особенности российской науки были заданы не самой православной доктриной, а свойствами российской культуры и психологии, не предопределенными, а выраженными православием»[9].

Если следовать логике Вебера и Мертона, то ключевым элементом религиозного учения, влияющим на развитие науки, является трудовая этика. В православии же проблема нравственности труда решается иначе, чем в западном христианстве. Анализируя православное вероучение и его интерпретации у русских религиозных философов, Т.Б. Коваль выделяет ряд характерных особенностей православной трудовой этики. Прежде всего, это измерение ценности труда его «душеполезностью»: ценным признается «труд, превращенный в религиозное служение, совершаемый ради любви к Богу и ближнему, направленный на раскрытие данного Богом таланта, на совершенствование и воспитание души». В то же время труд, ориентированный на личную выгоду, или даже труд ради самого труда «признается в православии суетным, лишенным смысла, а иногда и просто пагубным для души»[10]. Следствием этого становится то, что в качестве высших форм человеческой деятельности рассматриваются те, которые имеют целью внутреннее преобразование личности – молитва, созерцание и аскеза, - и для православия характерно более радикальное противопоставление монашеского идеала мирскому образу жизни, чем в католицизме.

Но при этом идеал созерцательной жизни дополняется трудничеством, которое является основной формой аскетических упражнений и не оставляется даже при достижении высших ступеней религиозного просветления: «Весьма характерно, что в житиях русских святых, как правило, наиболее значимые встречи происходят в тот момент, когда святой подвижник занят какой-либо тяжелой «мужицкой» работой – перекапыванием грядок, распилкой дров и т.д… Для православия труд по перекапыванию грядок не хуже и не лучше труда на «хлеботворне», на постройке сарая или какой-либо умственной, творческой работы»[11].

Трудничество тесно связано с «идеалом социального опрощения», который «переворачивал всю социальную пирамиду, опровергал мирское представление о социальной иерархии, престижности и почете. Он формировал убеждение, что существует иная, высшая иерархия, наиболее высокие ступени которой занимают духовно наиболее совершенные… Святые подвижники чаще всего представали как бедняки, одетые в "худые ризы", как кроткие и смиренные труженики, никогда не остающиеся без работы, забывшие о своем некогда высоком социальном статусе…»[12].

В целом представления о труде, сложившиеся в православии, оказывались в противоречии с тенденцией к дифференциации профессий и выработке рыночных норм компенсации за труд – при сопоставлении с идеалом все специальности выглядели равно блеклыми, а их претензии на вознаграждение малоубедительными и заносчивыми. Но одновременно любая работа могла с таким же успехом стать преисполненной смысла, при условии, что она совершалась с внутренними духовными целями и с пренебрежением к выгоде.

Очевидно, что правовые идеи, на основе которых проходила институционализация европейской науки, исходили из принципиально иного видения. Первые университеты получали признание папского престола в качестве автономных от церкви, но, в то же время благочестивых объединений церковных и светских интеллектуалов, деятельность которых, хотя и заметно отличалась от основных интеллектуальных упражнений монашества – созерцания и молитвы, – рассматривалась как особый рациональный путь к постижению бога. Протестантские же течения упростили дилемму сочетания интеллектуальных занятий и праведного образа жизни, утвердив понимание профессиональной деятельности как формы религиозного служения. В то же время православное мировосприятие, склонное рассматривать стремление к мирскому успеху как несовместимое со священным статусом, не могло обеспечить аналогичную этическую основу для особого общественного положения ученых.

Это противоречие послужило причиной трудностей, с которыми столкнулась созданная Петром I Петербургская академия наук, а затем и российские университеты – статус ученого не имел в русском восприятии того профессорского

ореола, который сформировался вокруг него в Европе за пять веков существования университетов, и не мог быть столь же привлекательным для сословий, имевших доступ к высшему образованию. Как характеризовал ситуацию уже в период правления Александра I Н.М. Карамзин: «В Лейпциге, в Геттингене надобно профессору только стать на кафедру – зал наполнится слушателями. У нас нет охотников для высших наук. Дворяне служат, а купцы желают знать существенно арифметику, или языки иностранные для выгоды своей торговли… Выгоды ученого состояния в России так еще новы, что отцы не вдруг еще решатся готовить детей своих для оного»[13].

Определенную альтернативу религиозному служению представляло собой служение обществу – идеал «государева слуги» был своего рода смягченной версией святого: «душеполезность» заменяется здесь заботой об общих интересах, а «трудничество» и «опрощение», хотя и ожидаются, но в менее радикальных формах и, скорее, в кризисные моменты, а не постоянно. Именно этот идеальный тип предоставил этическую нишу первым русским ученым. Этому соответствовало и изначальное формирование отечественной науки под государственным патронажем, как писал Н.И. Кареев: «… нас насаждала науку *власть*, смотревшая на ученых не иначе как на чиновников известного ведомства: это были члены своего рода служилого сословия, не замкнувшегося у нас в особую корпорацию»[14].

Следствием приписывания ученым такого положения было постоянное давление, нацеленное на то, чтобы переориентировать их работу на решение практических задач, что прямо сказывалось на том, какие дисциплины развивались наиболее активно, – характерно, что первые научные успехи Петровской эпохи были связаны с исследовательскими экспедициями в глубь подконтрольных Империи территорий, а первым профильным отделом Петербургской академии, созданным в дополнение к трем основным «классам», объединявшим математические, естественнонаучные и гуманитарные дисциплины, был именно географический.

С этим же можно связать слабость университетской автономии: попытки утвердить особое положение университетского сообщества, как, например утверждение в 1804 г. либерального устава Московского университета, послужившего образцом для уставов других университетов, сталкивались с устоявшейся практикой «государственного утилитаризма»[15]. Восприятие профессоров с точки зрения этой практики характеризуется словами дореволюционного историографа Казанского университета Н.П. Загоскина: «… сами профессора университетов представлялись в глазах правительства не свободными представителями свободной науки, но чиновниками («чиновник по философии», «чиновник по словесности», «чиновник по естественному праву» – обычные выражения доброго старого времени для обозначения представителей кафедр)»[16].

Культура, не имеющая устоявшейся традиции разделения статусов государственного служащего и профессора, не могла обеспечить широкую поддержку особому положению последнего, аналогично тому, как такой статус предоставлялся европейским интеллектуалам, ассоциированным с университетской корпорацией. Особая социальная идентификация ученых состоялась лишь в XIX в. в рамках понятия «интеллигенция», не отличающегося четкостью, но в целом предполагающем необходимость служения обществу за пределами решения практических задач. Возникновение этого особого культурного статуса было связано с необходимостью отмежеваться от «служилого сословия». По характеристике русского филолога Б.А. Успенского: «… Интеллигент противоположен дворянину… Дворянин – это "слуга царю" и слуга государства, государственной системы, который в принципе обязан подчиняться всем стандартам данного общества. В отличие от дворянина, который служит царю, интеллигент может служить только идее»[17]. Упомянутая «обязанность подчиняться стандартам» является для ученого серьезным ограничением, так как в «чистой» науке необходимо выводить интеллектуальную деятельность на уровень, не достижимый в условиях связанности практическими задачами, – именно таким «чрезмерным» интеллектуализмом отличались средневековая университетская схоластика и схожим образом выглядели в момент своего создания математические системы Декарта и Ньютона, конструируемые в отрыве от каких-либо прикладных проблем. В Европе общественная ниша для таких занятий создавалась благодаря устоявшимся представлениям о возможности рационального пути к божественному познанию и признанию профессионализма, как такового, в качестве формы религиозного служения. Российская культура таких оснований не обеспечивала, однако в то же время православная традиция приписывала особую ценность любой деятельности, осуществляемой бескорыстно и во имя духовных, идеальных целей. Эти культурные установки явно оказали влияние на определяющие черты русской интеллигенции: во-первых, «интеллигенты могут напоминать монахов, которые отказываются от мира; интеллигент отказывается от мира бюрократического государственного, он противопоставляет духовные ценности государственной системе», во-вторых, «русская интеллигенция – всегда оппозиционна, это та группа общества, которая в принципе, по самой своей природе, не может быть привлечена к государственной деятельности»[18], – и именно что не может, так как отказ от оппозиционности делает практически невозможным удержание особого социокультурного статуса, не смыкающегося со статусом служащего. В силу этих тенденций российские ученые, которые составляли группу, хотя и не полностью, но в значительной степени совпадающую с интеллигенцией, почти всегда

отличались высоким уровнем оппозиционной активности.

Научные реформы советской власти в значительной степени изменили отношение к науке – на пике советского могущества она воспринималась как наиболее престижная профессия, – но не к ученым – традиция уравнивания их с государственными служащими продолжилась, с той оговоркой, что теперь наука считалась наиболее важной формой «служения». Более того, марксизм объявлял представления о «чистых» научных исследованиях «буржуазным лицемерием», а наука, в том числе и фундаментальная, признавалась частью производительных сил, находившихся в советской системе под контролем государства, – и соответственно в рамках этой системы ни о какой научной автономии и академической свободе речи идти не могло. Одновременно сохранилась и интеллигентская оппозиционность науки – несмотря на привилегированное положение, к 1980-м гг. именно научные сотрудники представляли собой одних из наиболее непримиримо настроенных противников командно-административной системы.

Если вернуться к вопросу влияния господствующей религии, то следует заметить, что оно сказывалось не только на общественном восприятии науки в целом, но и на развитии отдельных дисциплин, как пишут А.В. Юревич и И.П. Цапенко: «Одна из главных особенностей православия обычно видится в абсолютном приоритете духа над материей, в центрированности не на практических интересах, а на нравственном сознании. Поэтому неудивительно, что под влиянием православия главной проблемой российской науки стала проблема человека, его судьбы и карьеры, смысла и цели истории, а не практические проблемы, служившие центром притяжения в Западной науке. В результате, несмотря на отдельные весьма громкие успехи российских естествоиспытателей, вплоть до XX века отечественная гуманитарная традиция была куда богаче естественно-научной»[19].

Русская философия унаследовала у православия эту расстановку акцентов и создала сильную антисциентистскую традицию, в основе которой лежала именно критика естественно-научного подхода к действительности. Эмоциональной нейтральности и рациональному подходу как необходимым опорам естественной науки противопоставлялись эмоциональный накал и интуитивные прозрения, ассоциирующиеся с художественным методом. Образ европейской науки как холодного разбора действительности, осуществляемого бесстрастным экспериментатором, служил объектом критики русской философии на протяжении всего XIX в. – среди прочих, у В.С. Одоевского[20], А.С. Хомякова[21]– а в XX оставался таковым для философов русского зарубежья – И.А. Ильина, Н.А. Бердяева и др. Колоссальные интеллектуальные силы были положены на то, чтобы описать науку, основанную не на холодной рациональности, для чего изобретались самые поэтичные формулировки: к примеру, Бердяев увязывает развитие науки с русским религиозным сознанием: «Вера в человека, в его творческую свободу и творческую мощь возможна лишь для религиозного сознания, а никогда для позитивистического сознания, которое смотрит на человека, как на рефлекс материальной среды, природной и социальной. Поистине необходим и неотложен в России призыв к повышению человеческой активности, человеческого творчества, человеческой ответственности»[22]. Те же лежащие за пределами рационального подхода к действительности основы – свободу, ответственность и эмоциональный накал – видит в основе русской науки Ильин: «Русский ученый призван вносить в свое исследовательство начала сердца, созерцательности, творческой свободы и живой ответственной совести»[23]. Можно заметить, что сам факт попыток увязать проблему научного метода с не поддающимися рационализации человеческими мотивами и эмоциями с помощью, скорее, художественного, чем научного изложения, уже может служить свидетельством тому влиянию, которое гуманитарный взгляд на вещи имел в российской культуре.

Как уже говорилось выше, и религиозная традиция, и национальная философия не служат причиной культурного своеобразия, а являются его выражением. Предпосылки же тех или иных особенностей обычно ищут в истории, нередко связывая особенности национального развития с географией местности. Не все эти рассуждения одинаково хорошо обоснованы, но некоторые представляются вполне убедительными. К последним можно отнести такое наблюдение А.В. Юревича: «В частности, одна из основных детерминант российского национального характера часто видится в сезонном характере сельскохозяйственного труда в России, приучившем наших предков работать интенсивно, но непостоянно, в хорошо знакомом нам авральном ритме»[24]. Влияние привычки чередовать периоды затишья с вынужденными взрывами деятельности можно найти и в американских описаниях советской научной системы – Х. Балзер, например, отмечает «хорошо известную тенденцию советских управленцев заниматься накапливанием ресурсов (to hoard resources), в том числе и кадровых»[25], что приводило к переукомплектованности научных институтов и созданию материальных запасов, многократно превышающих реальные потребности. Однако эта особенность полностью соответствовала характерной для советского научного руководства стратегии: «В решение задачи вкладываются колоссальные ресурсы, что способствует их бесполезному расходованию или даже делает неизбежным то, что их значительная часть будет потрачена без толку, однако такой подход обеспечивает достижение целей, поставленных на приоритетных направлениях. Несмотря на распространенные в последнее время дискус-

сии о необходимости интенсивного развития, при решении нестандартных задач Советы все так же предпочитают полагаться на "пожарные" программы и кампании»[26].

И, наконец, важным фактором формирования и национальной культуры в целом, и культуры научного сообщества, влияние которого наименее изучено, является язык. Наука на русском языке появилась значительно позже, чем наука в России, – первые попытки Петра I наладить перевод научной литературы столкнулись с «полным отсутствием представлений о науке у большинства переводчиков, а также отсутствием в русском языке средств для научного изложения»[27]. И хотя Петровские реформы сумели переломить ситуацию – по оценкам дореволюционных лингвистов до четверти новых слов, появившихся в русском языке в Петровскую эпоху, имели отношение к научной деятельности[28], – практически до середины XIX в. научные публикации на русском были редкостью. Главной причиной такого положения дел, конечно же, было международное распределение влияния в науке – языки стран, наиболее успешных в исследовательском отношении, естественным образом доминировали в научном обороте. Однако можно предположить, что и характер самого языка способен оказать определенное влияние на его популярность среди мирового сообщества ученых, а также, в некотором смысле, - формировать содержание научной деятельности в пределах своего ареала. Речь не идет о попытке поставить психолингивистический фактор вперед экономического или политического или даже хотя бы уравнять их значение, а лишь о том, чтобы предположить принципиальную возможность такого влияния.

Если перейти от допетровского состояния языка к современному русскому – сложившемуся уже после уверенного вхождения России в число ведущих научных держав, то следует заметить, что он остается менее компактным, чем, к примеру, немецкий и английский, – свидетельством этому является коэффициент, используемый переводчиками для расчета объема текста, – при переводе с немецкого или английского он составляет 1,2[29]. Далее, даже поверхностное сопоставление открывает отличия русского от главных языков европейской науки, влияющие на сложность составления описаний: к примеру, в отличие от немецкого, русский устанавливает гораздо более жесткие правила образования новых составных терминов, а в отличие от английского, не допускает превращения существительных в прилагательные за счет порядка слов – прием, который значительно упрощает создание характеристик для описываемых предметов. Нормы словоупотребления в русском опять же отличаются от упомянутых европейских языков: в частности, для английского характерно более строгое разграничение синонимов, которые чаще имеют жесткие привязки к контексту употребления и не допускают свободного чередования, - отсюда и более мягкие по сравнению с русским литературным языком ограничения на повторы слова. И, наконец, в русском заметно сложнее сохранять нейтральность – гибкость в употреблении синонимов и различных приставочно-суффиксальных вариаций одного слова, с одной стороны, позволяют передавать тонкие оттенки отношения, с другой – могут делать очищение текста от оценочных суждений нетривиальной задачей. Это имеет парадоксальное следствие: английский, как язык науки, оказывается ближе к литературной или даже повседневной речи и оказывается живее русского научного: «В английских научных текстах встречаются эмоциональные эпитеты, образные и фигуральные выражения, риторические вопросы и тому подобные стилистические приемы, оживляющие повествование и более свойственные разговорному стилю или художественной речи. Такие нарушения стилистического единства текста меньше свойственны научно-техническим материалам в русском языке»[30]. Таким образом, речь последних в большей степени отличается от привычного языка, в силу этого кажется суше и искусственнее, и переход на русский язык науки может требовать и от автора, и от читателя большего внимания и напряжения.

Основываясь на приведенных свойствах, можно предположить, что русский язык гораздо лучше приспособлен для художественного слога, чем для «протокольных» описаний, которые требуются при фиксации результатов научного наблюдения и экспериментов. Это предположение подталкивает к тому, чтобы обратить внимание на характерный для российской науки уклон в теорию. Уклон этот, конечно же, имеет относительный характер: отечественная экспериментальная наука также имеет открытия мирового значения, но все же большая часть имен всемирно известных российских ученых связана с теоретическими прорывами. В XIX в. главными для России дисциплинами были математика и химия, при этом, если математика в принципе не предполагает описаний, то главные результаты в области химии были связаны именно с теоретическими основами этой науки – это теория химического строения А.М. Бутлерова и периодический закон Д.И. Менделеева. Распределение профессиональных интересов последнего дают особенно показательную для российской науки картину: «В целом Менделееву принадлежат научные работы трех типов. Ряд из них имеет преимущественно теоретический характер и относится к общей категории фундаментальных исследований. В других, вышедших как учебники, Менделеев выступает мастером синтеза современных химических знаний. Третью же группу составляют работы из области прикладной науки, и она включает не только богатый набор физических и химических исследований, но и сочинения, содержащие детальный анализ индустриальной и сельскохозяйственной экономики России»[31].

Примечательным в этом перечне является отсутствие значимых экспериментальных исследований фундаментального характера. Эта особенность отмечалась и самим Менделеевым, который «по праву гордился тем, что сделал крупное научное открытие, и признавал его значение, однако скрупулезно указывал на то, что его периодический закон химических элементов получил экспериментальное подтверждение, благодаря работам других ученых», и в этом смысле ставил себя ниже А. Лавуазье, который «выдвигал крупные научные идеи и проверял их с помощью экспериментов»[32]. Преобладание первой части этой формулы научного успеха над второй оказалось характерным не только для величайшего российского химика, но и для российской науки в целом.

Необходимо еще раз подчеркнуть, что речь идет лишь о том, что за российскими учеными числится больше теоретических достижений, чем экспериментальных, что ни в коем случае не означает «слабость» последних, – здесь достаточно вспомнить хотя бы И.П. Павлова, успехи которого полностью соответствуют формуле «идея–эксперимент». Экспериментальная наука интенсивно развивалась и в Советском Союзе, но и здесь опять же наблюдался уклон в сторону теории. Американские специалисты отмечали, что советская наука четко следует «правилу меловой доски»[33], в соответствии с которым преимущество остается за дисциплинами, для занятия которыми не требуется ничего, кроме той самой доски и мела. «Самый яркий пример – математика, но советские ученые также очень сильны на «меловой стороне» других направлений, включая теоретическую физику конденсированных сред, теоретическую астрофизику, теоретическую сейсмологию, математическую психологию, теорию элементарных частиц и плазменную физику. Но по мере смещения от абстрактных исследований к экспериментальным советская наука теряет в силе»[34].

В заключение следует отметить, что описание российской научно-исследовательской культуры по предложенной схеме способно расширить понимание особенностей науки в России, однако не может претендовать на установление причинно-следственных связей – нужно признать, что оно включает в себя слишком разнородные явления, чтобы с помощью инструментария, доступного социогуманитарной науке, можно было зафиксировать между ними хотя бы даже корреляционную связь. Но все же развитие исследований такого рода не следует всецело относить к области философии. Как отмечает одна из ведущих представителей психологии культуры Д. Коэн, психологическое исследование не должно отступать перед трудностями с установлением причинно-следственных связей, вызванных тем, что при изучении культурных феноменов чрезвычайно сложно изолировать исследуемые переменные и определить направление детерминации между ними. По ее мнению, развитию психологии культуры могут способствовать описательные исследования, в которых выделенные явления преподносятся с максимально полной характеристикой контекста, в котором они существуют, но без попыток распределить между ними роли детерминирующих и детерминируемых явлений. По ее мнению, такой подход способен создать базу для более точных исследований в будущем, а описательная работа может сыграть важную роль в развитии психологии, как это показал, в частности, опыт биологии, развивавшейся до момента создания эволюционной теории именно как описательная наука[35]. И надо сказать, что предложения Коэн выглядят наиболее подходящим подходом к изучению такого не имеющего четких границ явления как национальные научно-исследовательские культуры.

Konnov V.I. Influence of the cultural context on the development of science in Russia: social-psychological perspective.

Summary: *The article offers a social-psychological perspective on the process of shaping national science culture, which determines the peculiarities of scientific research in different countries. This point of view allows to determine the causes for emergence of national scientific cultures and provides instruments to describe them. The author applies the three-level scheme for describing cultures, developed by D. Oyserman and coauthors, and attempts to analyze the distal level of the Russian scientific culture, constituted by the influence of the Russian cultural tradition, which forms the context for the work of Russian scientists.*

Ключевые слова

Научно-исследовательская культура, психология культуры, психология науки, интеллигенция, трудовая этика.

Keywords

Research culture, cultural psychology, psychology of science, intelligentsia, work ethics.

Примечания

1. См. Knorr-Cetina K. Epistemic cultures: how the sciences make knowledge. Cambridge: Harvard University Press, 1999.
2. См. Toren N. Science and cultural context. New York: Peter Lang, 1988.
3. Мертон Р. Социальная теория и социальная структура. М.: АСТ, 2006. С. 770-771

4. Ярошевский М.Г. Школы в науке // Аллахвердян А.Г., Мошкова Г.Ю., Юревич А.В., Ярошевский М.Г. Психология науки. М.: Издательство «Флинта», 1998. С. 117.
5. См. Oyserman D., Kemmelmeier M., Coon H. Cultural psychology: a new look. // Psychological Bulletin, 2002, Vol. 128, No. 1, p. 110-117.
6. См., напр., Бернал Д. Наука в истории общества. М.: Издательство иностранной литературы, 1956. С. 144.
7. См. Мертон Р. Социальная теория и социальная структура. М.: АСТ, 2006. С. 839-864.
8. Юревич А.В., Цапенко И.П. Нужны ли России ученые? М.: Эдиториал УРСС, 2001. С. 125.
9. Там же. С. 131.
10. Коваль Т.Б. Этика труда православия // Общественные науки и современность. 1994. № 6. С. 57.
11. Там же. С. 62.
12. Там же. С. 64.
13. Карамзин Н.М.. Записка о древней и новой России в ее политическом и гражданском отношениях. М.: Наука, 1991. С. 66.
14. Кареев Н.И. О духе русской науки // Русская идея. М.: Республика, 1992. С. 177.
15. Бороздин И.Н. Университеты в России в первой половине XIX века // История России в XIX веке. Т. 2. СПб.: Издательство «Гранат и Ко.», 1910. С. 355.
16. Там же.
17. Успенский Б.А. Русская интеллигенция как специфический феномен русской культуры. // Русская интеллигенция и западный интеллектуализм: история и типология. М.: О.Г.И., 1999. С. 14.
18. Там же.
19. Юревич А.В., Цапенко И.П. Нужны ли России ученые? М.: Эдиториал УРСС, 2001. С. 131.
20. См.: Одоевский В.С. Русские ночи. М.: Наука, 1975.
21. См., напр.: Хомяков А.С. О возможности Русской художественной школы // Полное собрание сочинений. Том 1. М.: Университетская типография на Страстном бульваре, 1900. С. 73-104.
22. Бердяев Н.А. Русская идея. Судьба России. М: Издательство В. Шевчук, 2000. С. 278.
23. Ильин И.А. О русской идее // Русская идея. М.: Республика, 1992. С. 442.
24. Юревич А.В. Социально-психологические особенности российского научного мышления // Философия науки. 2003. №9. С. 289-290.
25. Balzer H. Soviet science on the edge of reform. Boulder: Westview Press, 1989. P. 63.
26. Ibid. P. 65.
27. Vucinich A. Science in Russian culture. A history to 1860. London: Peter Owen, 1963. P. 56.
28. См.: Булич С.К. Русский язык и сравнительное языкознание // Энциклопедический словарь: Россия. Л.: 1991. С. 831.
29. Письменный перевод. Рекомендации переводчику, заказчику и редактору. М.: 2012. URL: http://www.translators-union.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=338:2012-08-20-18-53-36&catid=100:materials&Itemid=309 (дата обращения: 20.10.2012).
30. Лебедева О. Г. Стилистико-грамматические особенности английского текста // Филология и лингвистика: проблемы и перспективы: материалы международной заочной научной конференции. Челябинск: Два комсомольца, 2011. С. 36-37.
31. Vucinich A. Science in Russian Culture. 1861-1917. Stanford: Stanford University Press, 1970. P. 153.
32. Ibid. P. 164.
33. Balzer H. Soviet science on the edge of reform. Boulder: Westview Press, 1989. P. 152.
34. Gustafson T. Why doesn't Soviet science do better? // The social context of Soviet science. Edited by Lubrano L., Solomon S. Boulder: Westview Press, 1980. P. 32.
35. См.: Cohen D. Methods in cultural psychology. // Handbook of cultural psychology. Kitayama S., Cohen D. (eds.) New York: The Guilford Press, 2007. P. 196-236.